

> МАГИСТРАЛЬ >

ИВАН ТУРГЕНЕВ

Призраки.
Таинственные повести



Москва
2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Т87

Художественное оформление серии
Натальи Портяной

Тургенев, Иван Сергеевич.
Т87 Призраки : таинственные повести / Иван Тургенев. — Москва : Эксмо, 2024. — 384 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-201872-5

«Таинственные повести» Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) — это знакомство с любимым классиком в необычном жанре.

Роковые совпадения, фатализм, любовь и смерть затягиваются в одну петлю страха и тревоги. Тургенев мастерски играет с читателем: то говорит о правдивости всего потустороннего, то разоблачает необычные явления — и всегда держит в напряжении.

В сборник вошли повести «Призраки», «Фауст», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич (После смерти)», рассказы «Поездка в Полесье», «История лейтенанта Ергунова», «Странная история», «Стук...стук...стук!..», «Рассказ отца Алексея», «Сон», «Собака».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-201872-5

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

ФАУСТ

Рассказ в девяти письмах

*Entbehren sollst du, sollst entbehren*¹.

«Фауст» (часть 1-я).

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

От Павла Александровича Б...

к Семену Николаевичу В...

Сельцо М...ое, 6 июня 1850.

Четвертого дня прибыл я сюда, *любезный* друг, и, по обещанию, берусь за перо и пишу к тебе. Мелкий дождь сеет с утра: выйти невозможно; да и мне же хочется поболтать с тобой. Вот я опять в своем старом гнезде, в котором не был — страшно вымолвить — целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет! Право, как подумаешь, я точно другой человек стал. Да и в самом деле другой: помнишь ты в гостинной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки, с такими странными завитушками по углам, — ты всё, бывало, раздумывал о том, что оно видело сто лет тому назад, — я, как только приехал, подошел к нему и невольно смутился. Я вдруг увидел, как я постарел и переменялся в последнее время. Впрочем, не я один постарел. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю. Добрая моя Васильевна, ключница (ты ее, наверно, не забыл: она тебя таким славным вареньем потчевала), совсем высохла и сгор-

¹ Отречься <от своих желаний> должен ты, отречься (*нем.*).

билась; увидав меня, она даже вскрикнуть не могла и не заплакала, а только захохла и раскашлялась, села в изнеможении на стул и замахала рукою. Старик Терентий еще бодрится, по-прежнему держится прямо и на ходу выворачивает ноги, вдетые в те же самые желтые нанковые панталочки и обутые в те же самые скрипучие козловые башмаки, с высоким подъемом и бантиками, от которых ты не однажды приходил в умиление... Но, боже мой! — как болтаются теперь эти панталочки на его худеньких ногах! как волосы у него побелели! и лицо совсем съежилось в кулачок; а когда он заговорил со мной, когда он начал распоряжаться и отдавать приказания в соседней комнате, мне и смешно и жалко его стало. Все зубы у него пропали, и он шамкает с присвистом и шипеньем. Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости (помнишь, мы их с тобой сажали) разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены — всё это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле — песку у меня, ты знаешь, нету. Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он... А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы — моя страсть. Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделявал свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдаль; вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дятел. Я слушал, слушал весь этот мяг-

кий, слитный гул, и пошевелинуться не хотелось, а на сердце не то лень, не то умиление. И не один сад вырос: мне на глаза беспрестанно попадаются плотные, дюжие ребята, в которых я никак не могу признать прежних знакомых мальчишек. А твой фаворит, Тимоша, стал теперь таким Тимофеем, что ты себе представить не можешь. Ты тогда боялся за его здоровье и предсказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты теперь на его огромные красные руки, как они торчат из узеньких рукавов нанкового сюртука, и какие у него повсюду выпираются круглые и толстые мышцы! Затылок, как у быка, и голова вся в крутых белокурых завитках — совершенный Геркулес Фарнезский! Впрочем, лицо его изменилось меньше, чем у других, даже не очень увеличилось в объеме, и веселая, как ты говорил, «зевающая» улыбка осталась та же. Я его взял к себе в камердинеры; своего петербургского я бросил в Москве: очень уж он любил стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство в столичном обращении. Собак моих я не нашел ни одной; все перевелись. Одна Нефка дольше всех жила — и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса; не пришлось ей увидеть бывшего хозяина и товарища по охоте своими потускневшими глазами. А Шавка цела и так же лает сипло, и одно ухо так же прорвано, и репейники в хвосте, как быть следует. Я поселился в бывшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много; зато меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело! этот затхлый, немного кислый и вялый запах сильно действует на мое воображение: не скажу, чтобы он был мне неприятен, напротив; но он возбуждает во мне грусть, а наконец унылость. Я, так же как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бля-

хами, белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами стеклянные люстры, с большим яйцом из лиловой фольги посередине, — словом, всякую дедовскую мебель; но постоянно видеть всё это не могу: какая-то тревожная скука (именно так!) овладеет мною. В комнате, где я поселился, мебель самая обыкновенная, домодельщина; однако я оставил в углу узкий и длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва виднеется разная старозаветная дутая посуда из зеленого и синего стекла; а на стене я приказал повесить, помнишь, тот женский портрет, в черной раме, который ты называл портретом Манон Леско. Он немного потемнел в эти девять лет; но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно, губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуощипанная роза так же тихо валится из тонких пальцев. Очень забавляют меня шторы в моей комнате. Они когда-то были зеленые, но пожелтели от солнца: по ним черными красками написаны сцены из д'арленкуровского «Пустынника». На одной шторе этот пустынный, с огромнейшей бородой, глазами навывкате и в сандалиях, увлекает в горы какую-то растрепанную барышню; на другой — происходит ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами на плечах; один лежит, en rassoirci¹, убитый — словом, все ужасы представлены, а кругом такое невозмутимое спокойствие, и от самых штор ложатся такие кроткие отблески на потолок... Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился; ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем, лень мыслить; но думать не лень: это две вещи разные, как ты

¹ в ракурсе (*франц.*).

сам хорошо знаешь. Воспоминания детства сперва нахлынули на меня... куда я ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные, до малейших подробностей ясные, и как бы неподвижные в своей отчетливой определенности... Потом эти воспоминания сменились другими, потом... потом я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось у меня в груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сидя на плотине, под ракитой, я вдруг неожиданно заплакал и долго бы проплакал, несмотря на свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, потом, не обращая ко мне лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желал остаться в таком настроении (плакать, разумеется, я уже больше не буду) до самого моего отъезда отсюда, то есть до сентября месяца, и очень был бы огорчен, если б кто-нибудь из соседей вздумал посетить меня. Впрочем, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нет близких соседей. Ты, я уверен, поймешь меня; ты знаешь сам по опыту, как часто бывает благотворно уединение... Оно мне нужно теперь, после всяческих странствований.

А скучать я не буду. Я привез с собой несколько книг, и здесь у меня библиотека порядочная. Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною не замеченных вещей: «Кандида» в рукописном переводе 70-х годов; ведомости и журналы того же времени; «Торжествующего хамелеона» (то есть Мирабо); «Le Paysan perversi»¹ и т.д. Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей

¹ «Развращенного крестьянина» (франц.).

бабки, и даже, представь себе, моей прабабки: на одной ветхой-ветхой французской грамматике, в пестром переплете, написано крупными буквами: *Se livre appartient à m-lle Eudoxie de Lavrine*¹ и выставлен год — 1741. Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гётевского «Фауста». Тебе, может быть, неизвестно, что, было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть, разумеется) от слова до слова; я не мог начитаться им... Но другие дни — другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гёте в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). Я унес ее с собою, лег на постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова, помнишь: «На жизненных волнах, в вихре творения», возбудили во мне давно не изведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил всё: и Берлин, и студенческое время, и фрейлейн Клару Штих, и Зейдельманна в роли Мефистофеля, и музыку Радзивилла и всё и вся... Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания...

Вот каким грезам предавался твой почти сорокалетний друг, сидя, одинокий, в своем одиноком домишке! Что, если бы кто подсмотрел меня? Ну, так что ж? Я бы несколько не устыдился. Стыдиться — это тоже признак молодости; а я, знаешь ли, почему стал замечать, что стареюсь? Вот почему. Я теперь стараюсь преуве-

¹ Эта книга принадлежит девице Евдокии Лавриной (франц.).

личивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва...

А все-таки мне кажется, что, несмотря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал, и это «что-то» — чуть ли не самое важное.

Эх, до чего я дописался! Прощай! До другого раза. Что ты делаешь в Петербурге? Кстати: Савелий, мой деревенский повар, велит тебе кланяться. Он тоже постарел, но не слишком, потолстел и обрюзг немного. Так же хорошо делает куриные супы с разварными луковицами, ватрушки с узорчатой каймой и пигус — знаменитое степное блюдо пигус, от которого у тебя язык побелел и стоял колом в течение целых суток. Зато жареное он по-прежнему засушивает так, что хоть стучи им по тарелке — настоящий картон. Однако прощай!

Твой П. Б.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

От того же к тому же

Сельцо М...ое, 12 июня 1850.

Имею сообщить тебе довольно важную новость, любезный друг. Слушай! Вчера, перед обедом, захотелось мне погулять — только не в саду; я пошел по дороге в город. Идти без всякой цели быстрыми шагами по длинной прямой дороге — очень приятно. Точно дело делаешь, спешишь куда-то. Смотрю: едет навстречу коляска. «Не ко мне ли?» — подумал я с тайным страхом... Однако нет: в коляске сидит

господин с усами, мне незнакомый. Я успокоился. Но вдруг этот господин, поравнявшись со мною, велит кучеру остановить лошадей, учтиво приподнимает фуражку и еще учтивее спрашивает меня: не я ли такой-то? — называя меня по имени. Я, в свою очередь, останавливаюсь и с бодростью подсудимого, которого ведут к допросу, отвечаю: «Я такой-то», а сам гляжу, как баран, на господина с усами и думаю про себя: «А ведь я его видал где-то!»

— Вы меня не узнаете? — произносит он, вылезая между тем из коляски.

— Никак нет-с.

— А я так узнал вас тотчас.

Слово за слово: оказывается, что это был Приемков, помнишь, бывший наш университетский товарищ. «Что же это за важная новость? — думаешь ты в это мгновение, любезный Семен Николаич. — Приемков, сколько мне помнится, малый был довольно пустой, хотя не злой и не глупый». Всё так, дружище, но слушай продолжение разговора.

— Я, говорит, очень обрадовался, когда услышал, что вы приехали в свою деревню, к нам в соседство. Впрочем, не я один обрадовался.

— Позвольте узнать, — спросил я, — кто же еще был так любезен...

— Моя жена.

— Ваша жена!

— Да, моя жена: она ваша старая знакомая.

— А позвольте узнать, как зовут вашу супругу?

— Ее зовут Верой Николаевной; она Ельцова урожденная...

— Вера Николаевна! — восклицаю я невольно...

Вот это-то и есть самая та важная новость, о которой я говорил тебе в начале письма.

Но, может быть, ты и в этом ничего не находишь важного... Придется мне рассказать тебе кое-что из моей прошедшей... давно прошедшей жизни.

Когда мы вместе с тобой вышли из университета в 183... году, мне было двадцать три года. Ты поступил на службу; я, как тебе известно, решил отправиться в Берлин. Но в Берлине раньше октября нечего было делать. Мне захотелось провести лето в России, в деревне, полениться хорошенько в последний раз, а там уже приняться за работу не шутя. Насколько сбылось это последнее предположение, об этом теперь распространяться нечего... «Но где мне провести лето?» — спрашивал я себя. В свою деревню мне ехать не хотелось: отец мой недавно скончался, близких родных у меня не было, я боялся одиночества, скуки... А потому я с радостью принял предложение одного моего родственника, двоюродного дяди, погостить у него в имении, в Т***ой губернии. Он был человек зажиточный, добрый и простой, жил барином и палаты имел барские. Я поселился у него. Семейство у дяди было большое: два сына и пять дочерей. Кроме того, в доме у него проживало пропасть народу. Гости беспрестанно наезжали — а все-таки весело не было. Дни протекали шумно, уединиться не было возможности. Всё делалось сообща, все старались чем-нибудь рассеяться, что-нибудь придумать, и к концу дня все уставали страшно. Пошлым чем-то отзывалась эта жизнь. Я уже начинал мечтать об отъезде и ждал только, чтобы прошли дядины именины, но в самый день этих именин на бале я увидел Веру Николаевну Ельцову — и остался.

Ей было тогда шестнадцать лет. Она жила с своею матерью в маленьком имении, верстах в пяти от моего дяди. Отец ее — человек, говорят, весьма замечательный — быстро достиг полковничьего чина и по-

шел бы еще далее, но погиб в молодых годах, нечаянно застреленный на охоте товарищем. Вера Николаевна осталась после него ребенком. Мать ее была тоже женщина необыкновенная: она говорила на нескольких языках, много знала. Она была семью или восемью годами старше своего мужа, за которого вышла по любви; он тайно увез ее из родительского дома. Она едва перенесла его потерю и до самой смерти (по словам Приемкова, она умерла скоро после свадьбы дочери) носила одни черные платья. Я живо помню ее лицо: выразительное, темное, с густыми, поседелыми волосами, большими, строгими, как бы потухшими глазами и прямым тонким носом. Ее отец — фамилия его была Ладанов — лет пятнадцать прожил в Италии. Мать Веры Николаевны родилась от простой крестьянки из Альбано, которую на другой день после ее родов убил трастеверинец, ее жених, у которого Ладанов ее похитил... Эта история в свое время наделала много шума. Вернувшись в Россию, Ладанов не только из дома, из кабинета своего не выходил, занимался химией, анатомией, кабалистикой, хотел продлить жизнь человеческую, воображал, что можно вступать в сношения с духами, вызывать умерших... Соседи считали его за колдуна. Он чрезвычайно любил дочь свою, сам учил ее всему, но не простил ей ее побега с Ельцовым, не пустил к себе на глаза ни ее, ни ее мужа, предсказал им обоим жизнь печальную и умер один. Оставшись вдовою, г-жа Ельцова посвятила весь свой досуг на воспитание дочери и почти никого не принимала. Когда я познакомился с Верой Николаевной, она, представь себе, ни в одном городе не бывала отроду, даже в своем уездном.

Вера Николаевна не походила на обыкновенных русских барышень: на ней лежал какой-то особый от-

печаток. Меня с первого раза поразило в ней удивительное спокойствие всех ее движений и речей. Она, казалось, ни о чем не хлопотала, не тревожилась, отвечала просто и умно, слушала внимательно. Выражение ее лица было искреннее и правдивое, как у ребенка, но несколько холодно и однообразно, хотя и не задумчиво. Веселою она бывала редко и не так, как другие: ясность невинной души, отраднее веселости, светилась во всем ее существе. Она была небольшого роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильные и нежные, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, нос прямой, как у матери, довольно полные губы; серые с чернотой глаза глядели как-то слишком прямо из-под пушистых, кверху загнутых ресниц. Руки у ней были невелики, но не очень красивы: у людей с талантами таких рук не бывает... и действительно, за Верой Николаевной никаких особенных талантов не водилось. Голос у ней звенел, как у семилетней девочки. Я на бале у дяди был представлен ее матери и, несколько дней спустя, в первый раз поехал к ним.

Г-жа Ельцова была женщина очень странная, с характером, настойчивая и сосредоточенная. На меня она имела влияние сильное: я и уважал ее и побаивался ее. Всё у ней делалось по системе, и дочь свою она воспитала по системе, но не стесняла ее свободы. Дочь любила ее и верила ей слепо. Стоило г-же Ельцовой дать ей книжку и сказать: вот этой страницы не читай — она скорее предыдущую страницу пропустит, а уж не заглянет в запрещенную. Но и у г-жи Ельцовой были свои *idées fixes*¹, свои коньки. Она, например, как огня боялась всего, что может действо-

¹ навязчивые идеи (*франц.*).